

Александр Вейцман

МАНДЕЛЬШТАМ И ДРУГИЕ

* * *

Прислушайтесь: из пыльного угла,
где некогда висели зеркала,
доносится холодный и невнятный
звук голоса, летящий к небесам,
— и это сочиняет Мандельштам
стихи про неизвестного солдата.

Прислушайтесь: послышится «Аминь»,
как признак жизни там, где раньше жизнь
теплилась, наделенная глухими
и ветхими молитвами, жизнь та,
что начинается с имени Христа,
а завершается, совсем не помня имя.

Прислуш... опять идет январский снег,
рифмуя прежним ямбом новый век,
что кажется логичным, ибо ямбы
одергивают время — шаг, вздох, взгляд —
и в прошлое торжественно спешат,
чтоб лечь под светом деревянной лампы.

* * *

Поль Сезанн, после спора с Золя, не заметил, что угол,
нарисованный утром, впитал не полуденный свет,
а случайную тень фонаря, под которым МакДугал
пересек Бликер-стрит, из пейзажа пророча портрет.

В красно-черном костюме, слегка побледневшем в метели,
ровным взором следя за полетом души мотылька,
Арлекин был по-прежнему юн, и протяжною трелью
удлинял Шостаковича в фуге, под гул «ХТК».

Это было не зеркале и не в окне: было это
словно между, в пространстве, оставленном для старых стен,
отрицавших акустику и дуновение ветра,
отрицавших и краски, и то, что приходит взамен.

Он бы мог написать Арлекина, но вечером больше
он склонялся к вину, а потом засыпал, кисть в руках
машинально сжимая, во сне слыша голос «О, Боже!»,
как бы мог Шостакович во сне слышать эхо «О, Бах...»

ВРОНСКИЙ В ИТАЛИИ

Четвертый день он писал портрет Анны.
Задумывался, шурился и снова писал.
Треножный мольберт подле венецианской рамы
отражался в пыли зеркал

напротив, постепенно в эту пыль приглашая
наполовину нарисованное лицо,
в котором тоска по утраченному раю
напоминала яйцо.

Четвертый день он писал. На горизонте
заканчивался Петербург и начинался Рим.
Издалека доносились строки «Из Пиндемонти»,
и краски стилем чужим

родные очертания преображали в мертвый
взгляд, не жалеющий уже никого,
за исключением сюжета старого офорта
и пыли его.

Вронский писал. Жизнь не прекращалась. Анна
отбрасывала тень на светлый фон,
напоминавший обыкновенную поляну,
переходящую в небосклон

пятого дня, и это было возможно
лишь потому, что он еще не наступил
и казался очаровательно безбожным
днем неких новых сил.

* * *

Улисс вернулся домой, а дома опять ни души.
На небе — ни сини, ни облака. Говорят, горизонт в глуши
спешит за отсутствием света, и этим бросает фортуне
существенный вызов в апреле, но чаще всего в июне.

Улисс спешит по соседям и тихо бормочет: «Когда меня покинет память и, значит, покинет беда?»
Соседи его не слышат, но, видя диковинный профиль, кричат о победе в мае, как будто о катастрофе.

Улисс затем подумал: «Кем выдумана та западня, что миру дала Лаэрта, а Лаэрту дала меня?»
И понял, что будет жить дальше, теперь, впрочем, не объясняя себе совсем ничего, помимо собачьего лая.

* * *

...и князь Мышкин завел разговор об увиденной казни, не спуская с Аглаи краснеющих в сумерках глаз, — о зеваках, спешивших к помосту, как будто на праздник, о монахе, что трясся в падучей, попутно крестясь.

«Если вспомнить рассвет — пробужденье сквозь просинь рассвета, казнь возможна лишь в городе с видом на море, когда крики чаек сливаются с красками раннего лета, а на смену агонии просто приходит вода.

Если вспомнить рассвет — счет идет не на дни, а на миги. Тьма едва позади, но вот-вот неизбежна, лишь жест палача превращается в тень, и сгорает интрига человеческой жизни на версты и версты окрест».

...и князь Мышкин продолжил рассказ. И Аглая смотрела в морозящую даль, сокращенную потом стекла, до которой, как ныне казалось, ей не было дела, ибо даль никуда не вела. Никуда не вела.